

**«Доктор Живаго»:  
художественный язык романа и язык интерпретации**

*Константин Поливанов (Москва, НИУ ВШЭ)*

Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» за свою уже более чем полувековую историю многократно привлекал внимание интерпретаторов. Прочтения и объяснения как романа в целом, так и отдельных его фрагментов предлагались сначала в отзывах читателей и критиков, а затем в многочисленных исследованиях.

В драматической истории восприятия романа существенную роль сыграла «внутренняя» рецензия редколлегии журнала «Новый мир» 1956 г., в которой обосновывался отказ от публикации. Отзыв был опубликован 25 октября 1958 г. в «Литературной газете», после объявления о присуждении Пастернаку Нобелевской премии по литературе, под заголовком «Письмо членов редколлегии журнала “Новый мир” Борису Пастернаку» и послужило «сигналом» к началу печатной травли автора и его романа.

Этот обширный текст хоть и представляет собой развернутую и агрессивную политическую интерпретацию «Доктора Живаго», интересен не только как факт советской политической истории. Отдельные положения новомирского отзыва можно соотнести с другими характеристиками и оценками романа. Интересно также, в какой степени точка зрения редколлегии расходилась с представлениями автора о своем произведении и в конечном счете — с «художественным языком» текста.

История возникновения этого «Письма», имена его инициаторов и цели, которые ими преследовались, подробно описаны в письме в ЦК КПСС 7 декабря 1957 г. главного редактора журнала «Новый мир» Константина Симонова:

В первых числах сентября 1956 года пять членов редакционной коллегии журнала «Новый мир» (Федин, Лавренев, Агапов, Криницкий, Симонов), прочитав предложенную журналу рукопись романа Пастернака, написали автору письмо, в котором подробно излагались мотивы отклонения рукописи. Письмо это, объемом в тридцать пять страниц, было написано с широкой аргументацией всех политических пороков романа с тем, чтобы в случае появления романа в зарубежных издательствах можно было бы

при помощи публикации этого письма предпринять одну из возможных контрмер. Сама идея написания этого письма возникла при совместном обсуждении этого вопроса с товарищами Поликарповым и Сурковым в Отделе культуры ЦК КПСС [Документы: 89–90].

Цитируемое письмо Симонова было написано уже после выхода романа в Италии и в преддверии появления французского перевода, когда кремлевские идеологические чиновники и руководство Союза советских писателей обсуждали возможность публикации отзыва в западной коммунистической прессе для обозначения советской позиции по отношению к тексту Пастернака:

Сейчас, когда роман только что опубликован в Италии, и почти одновременно, в декабре, в Венеции состоится очередная встреча «Европейского общества культуры», на которую приглашены, и очевидно поедут, наши писатели.

Можно предполагать, что на этой встрече наши противники постараются активно использовать против нас выход романа Пастернака на итальянском языке.

Мне кажется, что в этих условиях было бы целесообразно, чтобы во время этой встречи один из беспартийных писателей старшего поколения, подписавший в свое время письмо к Пастернаку, К. А. Федин или Б. А. Лавренев, передал от себя для опубликования в итальянской коммунистической или социалистической печати письмо Пастернаку, выражавшее мнение о его романе, сложившееся уже полтора года назад у нескольких известных советских писателей.

Мне кажется — было бы особенно хорошо, если бы это мог сделать К. А. Федин, в свое время не только участвовавший в коллективном редактировании этого письма, но и своей рукой вписавший в него несколько наиболее резких страниц... [Документы: 90].

Таким образом, Симонов специально выделяет те «обвинительные» положения, которые принадлежали Константину Федину, давнему соседу Пастернака по Переделкину, знакомому с текстом романа задолго до 1956 г. (Пастернак давал ему читать главы романа в начале 1950-х). В октябре 1958 г., сразу после объявления решения Нобелевского комитета, он пришел к Пастернаку с настойчивой рекомендацией отказаться от премии, причем при-

шел не столько по своей инициативе, сколько по настоянию уже упоминавшегося секретаря ЦК КПСС Поликарпова, который на даче у Федина дожидался результата переговоров. Поликарпов, как показывают материалы, был едва ли не главным «куратором» из ЦК судьбы «Доктора Живаго».

Если судить по записи в дневнике К. И. Чуковского, то Федин характеризовал ему роман как «чрезвычайно эгоцентричный, гордый, сатанински надменный» [Чуковский: 240]. Из соединения двух этих указаний можно предположить, что перу Федина принадлежит фрагмент, где идет речь о высокомерии Юрия Андреевича по отношению к своим друзьям. Причем нетрудно догадаться, что, в большой степени отождествляя героя романа и автора, Федин видел в этом высокомерное отношение не только к себе, но и практически ко всему писательскому «сообществу». Вот что мы читаем в разбираемом тексте:

Личность Живаго для Вас есть высшая ценность. Духовный мир доктора Живаго есть высшая ступень духовного совершенства, и, во имя того, чтобы сохранилось это высшее духовное достижение и его жизнь, как сосуд, заключающий эту ценность в себе, — во имя этого позволительно преступить все.

Однако в чем же, в конце концов, заключается содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, что такое его индивидуализм, защищаемый им страшной ценой?

Содержание его индивидуализма — это самовосхваление своей психической сущности, доведенное до отождествления ее с миссией некоего религиозного пророка.

Живаго — поэт, не только врач. И чтоб убедить читателя в реальном значении его поэзии для человечества, как он сам ее понимает, Вы заканчиваете роман сборником стихов своего героя. Вы жертвуете при этом лучшую долю личного своего поэтического таланта избранному Вами персонажу, чтобы возвеличить его в глазах читателя и, вместе с тем, как можно больше сблизить его с самим собой.

Чаша страданий доктора Живаго на земле испита, и вот его тетрадь — завещание будущему. Что мы в ней находим? Кроме уже опубликованных в печати стихов, здесь особый смысл для понимания философии романа приобретают стихи о крестном пути Христа на земле. Здесь слышится прямая перекличка с духовным томлением героя, изображенным в

прозаической части романа. Параллели становятся ясны до предела, ключ к ним дается физически ощутимо из рук автора в руки читателя.

В заключительном к роману стихотворении Живаго рассказывается евангельское «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Слова Христа к апостолам содержат фразу:

«Вас господь сподобил жить в дни мои...»

Разве это не повторение уже сказанных доктором слов о своих «друзьях» — интеллигентах, поступавших не так, как поступал он: «Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали»?

Весь путь Живаго последовательно уподобляется евангельским «Страстям Господним», и стихотворная тетрадь-завещание доктора заканчивается словами Христа:

«Ко мне на суд, как баржи каравана,

Столетия поплывут из темноты».

Этим завершается роман. Его герой, как бы повторяющий крестный путь на Голгофу, последним своим словом к читателю, как Христос, прорицает будущее признание сотворенного им на земле во имя ее очищения от греха.

Не в том ли состоял «крестный» путь Живаго, что доктор-поэт, вещающий свое «второе пришествие» и суд над человеком, в действительности презирал реального человека, возводя себя на недостижимый для смертного пьедестал? Не в том ли состояло призвание этого интеллигентского мессии, что ради спасения своего «духа» он убивал, предавал, ненавидел человека, мнимо сострадая ему лишь затем, чтобы возвысить себя над ним до самообожествления?

В этом, собственно, и заключается все содержание высшей духовной ценности доктора Живаго, его гипертрофированного индивидуализма. В сущности, доктор нисколько не осуществляет своей претензии на мессианство, потому что искажает, но не повторяет пути обожествляемого им евангельского пророка: христианством на мрачной дороге доктора Живаго и не пахнет, потому что он меньше всего заботился о человечестве и больше всего о себе.

Так, под покровом внешней утонченности и нравственности вырастает фигура человека, в сущности своей безнравственного, отказывающегося

иметь какие-нибудь обязанности перед народом и претендующего только на права, в том числе и на якобы позволительное для сверхчеловека право ненаказуемого предательства.

Ваш доктор Живаго, благополучно пройдя через Сциллы и Харибды гражданской войны, умирает в конце двадцатых годов, растеряв близких его сердцу людей, вступив в какой-то странный брак и изрядно опустившись. Незадолго до смерти в разговоре с Дудоровым и Гордоном (по Вашей воле представляющих старую интеллигенцию, пошедшую сотрудничать с Советской властью) он в их лице награждает эту интеллигенцию предсмертным злобным плевком.

И как только Вы не аттестуете здесь злосчастных собеседников Вашего Живаго, как только Вы не казните их за то, что они не заняли позиций сверхчеловека, а пошли вместе с революционным народом через все его бедствия и испытания.

Им и «не хватает нужных выражений», они и «не владеют даром речи», и «в восполнение бедного словаря по несколько раз повторяют одно и то же». Им и свойственно «бедствие среднего вкуса, которое хуже бедствия безвкусицы», они и отличаются «неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором», они и «обольщены стереотипностью собственных рассуждений», они и «принимают за общечеловечность подражательность своих прописных чувств», они и «ханжи», и «несвободные люди, идеализирующие свою неволю», и так далее, и тому подобное.

И, слушая их речи, Ваш доктор Живаго, который, как Вы пишете, «не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением, или, как тогда бы сказали, духовным потолком эпохи», высокомерно думает о своих друзьях, пошедших служить Советской власти: «Да, друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство наших собственных имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мною и меня знали».

Мы Вам советуем внимательно перечитать эти слова, написанные Вами в Вашем романе. То, что они до смешного высокомерны, еще полбеды, но неужели Вы не чувствуете, что, кроме высокомерия, в них есть еще и низость! [Документы: 370–372]

Интересно, что слова о друзьях, смысл существования которых в том, что они «жили в одно время со мною и меня знали», задевали не только авторов новомирской рецензии (и, возможно, персонально Федина), но вызывали неодобрение Ахматовой (см.: [Тименчик: 300]).

Вероятно, среди «обиженных» «высокомерными» словами Живаго современников Пастернака могли бы быть и те, кого он сам упрекал в своей эпиграмме. Ее текст, несомненно, можно было также прочесть как текст высокомерный:

Друзья, родные, — милый хлам,  
Вы времени прихлись по вкусу!  
О, как я вас еще предам,  
Глупцы, ничтожества и трусы.

Быть может? в этом божий перст,  
И нет у вас другой дороги,  
Как по приемным министерств  
Упорно обивать пороги [Пастернак II: 265].

Впрочем, наверное, с не меньшим основанием в эпиграмме можно было увидеть и отчаянное одиночество поэта. Рецензенты (или именно Федин) разглядели в словах Живаго повторение слов Христа из стихотворения «Гефсиманский сад». Мы позволим себе чуть большую цитату из текста стихотворения:

В конце был чей-то сад, надел земельный.  
Учеников оставив за стеной,  
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,  
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,  
Как от вещей, полученных взаймы,  
От всемогущества и чудотворства,  
И был теперь, как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем  
Уничтоженья и небытия.  
Простор вселенной был необитаем,  
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,  
Пустые, без начала и конца,  
Чтоб эта чаша смерти миновала,  
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,  
Он вышел за ограду. На земле  
Ученики, усиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил  
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.  
Час Сына Человеческого пробил.

Он в руки грешников себя предаст» [Пастернак IV: 547–548].

Здесь в горьких словах упрека ученикам («вы ж разлеглись, как пласт») трудно найти проявление высокомерия, а не увидеть мучительного одиночества перед лицом приближающейся страшной смерти.

С тем же обличительным пафосом рецензенты пишут и об эпилоге романа:

Правда редко бывает спутницей озлобления, должно быть, поэтому ее так мало и на тех страницах, где Ваш доктор Живаго заканчивает свой жизненный путь, и на страницах следующего за этим эпилога, написанного, как нам кажется, очень ожесточенной и очень поспешной рукой, настолько поспешной от ожесточения, что эти страницы вообще трудно числить в пределах искусства [Документы: 372].

Не представляется возможным однозначно реконструировать, какие именно места эпилога были столь неприятными для рецензентов, но можно предположить, что характеристика войны и послевоенных лет в романе была одним из таких мест:

Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание [Пастернак IV: 514].

Оглядываясь на историю советской России, трудно, казалось бы, найти более «безнадежный» период, чем 1946–1953 гг. Утверждение, что «единственное историческое содержание» этих лет проявлялось в «носившемся в воздухе» «предвестии свободы», по меньшей мере парадоксально.

О собственном восприятии войны, о том, что после нее не может быть возврата к прежним формам несвободы, Пастернак писал жене 26 августа 1941 г.:

Меня раздражает все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуре и т. д. Нельзя, после того как люди нюхнули пороху и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, бездарной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия... [Пастернак IX: 232];

И снова в письме от 12 сентября:

...Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности, пошлости и неправде?.. [Пастернак IX: 249]

Как показывают секретные сводки НКГБ, в 1943 г. подобные настроения были не только у Пастернака. В частности, «сексоты» передают высказывания упоминавшегося выше Константина Федина, который как раз в первые месяцы войны был ближайшим собеседником Пастернака в Переделкине:

...все русское для меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ не будет больше голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей. За кровь, пролитую на войне, народ потребует плату <...> Я никому не поклонюсь и подлаживаться не буду <...> Я засел за роман, который, кстати сказать, никакого отношения не имеет к современности [Власть: 494–495].

Сию в Переделкино и с увлечением пишу роман, который никогда не увидит света, если нынешняя литературная политика будет продолжаться.

В этом писании без надежды есть какой-то сладостный мазохизм [Там же: 525].

Можно представить, что к отношению Федина к пастернаковскому роману и к его эпилогу добавлялось и раздражение, что у него самого от «предвестия свободы» и желания писать, не оглядываясь на руководящие указания, ничего не осталось, а Пастернак сумел, «поймав» это «носившееся в воздухе», написать свой роман, да еще и получить Нобелевскую премию.

Рецензенты «Нового мира» обильно цитируют пастернаковский роман, естественно, выбирая то, что наиболее наглядно, с их точки зрения, свидетельствует о политической «крамольности» текста. Самый большой цитируемый фрагмент — приведенная ими целиком глава 4 части XI «Лесное воинство», где Живаго, находящийся в плену у партизан, сталкивается с необходимостью взять в руки оружие и стрелять, хотя все его симпатии находятся на стороне атакующих белых, а не отстреливающихся красных. Юрий Андреевич старается стрелять в дерево, чтобы никого не задеть, и тем не менее пуля все же попадает в одного из нападающих, который по счастливой случайности остается жив. В этом эпизоде рецензенты видят едва ли не самое «преступное» место всего романа — «апологию предательства»:

А когда выясняется, что этот белый не убит, а лишь контужен, прячет его, выдает за партизана и, оставаясь сам у красных, отпускает его, зная от него самого, что тот вернется в ряды колчаковцев и будет драться с красными.

Так поступает Ваш доктор Живаго, вселяя к себе этим тройным, если не четырехкратным, предательством чувство прямого отвращения у всякого сколько-нибудь душевно здорового человека: отбросим здесь даже различие в политических взглядах — просто у субъективно честного человека, хоть раз в жизни ценившего свою совесть дороже своей шкуры!

А ведь между тем Вы всею силой своего таланта стремитесь эмоционально оправдать в этой сцене Живаго, и, тем самым, в конечном итоге, приходите к апологии предательства [Документы: 369].

В романе молодой «колчаковец», в которого попала пуля доктора, оказывается лишь контуженным, потому что пуля отскочила от висевшего на его груди «футлярчика» с 90-м псалмом. Тот же псалом, но переписанный от руки и «искаженный», оказывается на груди действительно убитого парти-

зана-телеграфиста, в одежду которого доктор с фельдшером переодевают контуженного и тем самым спасают от угрозы расправы.

Подобных «совпадений» («скрещений») много в романе Пастернака, и появляются они в тех местах текста, где в «обычную» жизнь персонажей вторгается «чудо». Так и в этом эпизоде мы имеем дело, видимо, с едва ли не главным из «чудес романа». Гражданская война фактически никому не оставляет шансов остаться вне враждующих лагерей — даже доктор оказывается вынужден не только взять в руки оружие, и его пуля попадает в человека. Но тут-то, вопреки непреложным всеобщим законам, и «срабатывает» чудо — только оно оказывается способным спасти Юрия Андреевича от убийства.

Наконец, едва ли не главной претензией рецензентов к Пастернаку было «неразделение» Февральской и Октябрьской революций 1917 г.:

Говоря о том, как революция входит в Ваш роман, даже трудно четко разделить Февральскую революцию от Октябрьской. В романе это выглядит как все вместе взятое, как вообще семнадцатый год [Там же: 353].

Отметим, что с прямо противоположных позиций смотрел на эту сторону «Доктора Живаго» Владимир Набоков, писавший Глебу Струве 14 июля 1959 г.:

Мне нет дела до идейности плохого провинциального романа — как русских интеллигентов не коробит от сведения на нет Февральской революции и раздувания Октября (чему, собственно говоря, Живаго обрадовался, читая под бутафорским снегом о победе советов в газетном листке?)... (цит. по: [Утгоф: 255]).

Фактическим ответом Пастернака рецензентам можно считать вставную главу в автобиографический очерк, который в 1956 г. предполагался в виде предисловия для готовившегося в Гослитиздате сборника стихотворений. Глава, в итоге не вошедшая в окончательный текст, писалась осенью 1956 г., соответственно, не только после передачи рукописи романа в итальянское издательство, но и после составления рецензии редколлегией «Нового мира». Мы можем предположить, что даже если Пастернаку не был известен весь текст этого документа, изготовленного, как уже упоминалось, по указанию ЦК КПСС, то какие-то из содержащихся в нем упреков и обвинений дошли и до него, и до готовившего сборник к печати издательского редакто-

«ДОКТОР ЖИВАГО»: ЯЗЫК РОМАНА И ЯЗЫК ИНТЕРПРЕТАЦИИ 11  
ра Н. Н. Банникова. Он специально обращался к Пастернаку с просьбой вставить в очерк главу об Октябрьской революции.

В итоге издание сборника стихотворений при жизни Пастернака так и не состоялось, а написанная вставная глава не вошла в окончательный текст опубликованного впоследствии автобиографического очерка «Люди и положения». Но интересно, что в тексте, который должен был служить «ответом» на упреки рецензентов «Доктора Живаго», Пастернак считает необходимым подчеркнуть свое отношение к роману, которое в этой ситуации выглядело по меньшей мере вызывающим:

**Совсем недавно я закончил главный и самый важный труд, единственный, за которого я не стыжусь и за который смело отвечаю [Пастернак III: 533].**

Но одновременно он счел необходимым написать несколько туманное, в сравнении с прямолинейностью выдвигавшихся упреков, но все же «разъяснение» позиции своих персонажей по поводу Февральской и Октябрьской революций:

...Отвлеченные созерцатели, главным образом из интеллигенции, не изведавшие страданий, от которых изнемогал народ, в том случае, если они сочувствовали революции, рассматривали ее сквозь призму царившей в те военные годы преемственной, обновленно патриотической славянофильской идеологии.

Они не противопоставляли Октября Февралю как две противоположности, но в их представлении оба переворота сливались в одно неразделимое целое Великой русской революции, обессмертившей Россию между народами, и которая в их глазах естественно вытекала из всего русского многотрудного и святого духовного прошлого [Пастернак III: 532].

Впрочем, рискнем предположить, что в реакции главного героя романа на Октябрьскую революцию содержится своеобразное противопоставление ее Февральской. Получив газетный листок с первыми декретами Советской власти, Юрий Андреевич говорил:

Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к по-

стройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, **в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее.** Так неуместно и несвоевременно только самое великое [Пастернак IV: 193–194].

Получается, что Живаго видит в этот момент в Октябрьском перевороте способность встроиться в ход идущей жизни, в частности не нарушая работу городского транспорта. Как известно, Февральской революции в Петрограде предшествовал полный паралич трамвайного движения, так как демонстранты откручивали ручки управления у вагонов во время движения на линии и, соответственно, трамваи не могли сдвинуться с места и блокировали все движение. 24 февраля трамвайное движение полностью остановилось и только 7 марта начало постепенно восстанавливаться [Поливанов: 70–75].

Таким образом, мы можем предположить, что на уровне чуть скрытой символики противопоставление двух революций присутствовало. Другое дело, что дальше по ходу романа Живаго не только разочаровывается в большевистском перевороте, но и сталкивается с остановившимся по всей России железным движением. Смерть же Живаго наступает, когда он едет в непрерывно останавливающемся трамвае, чем дополнительно подчеркивается значение «трамвая» как символа его отношения к революции.

Существенно, что отношение Пастернака к революции как в романе, так и за его пределами было гораздо более сложным, чем пытались представить авторы отзыва из «Нового мира». Они считали нужным оценивать «Доктора Живаго» по готовой схеме: «идеализм», «индивидуализм», враждебность к революции. Именно сложности в отношении к ходу исторических событий они не хотели видеть и принимать.

Занятно, что К. Федин при этом пытался упрекнуть Пастернака в том, что его герой ведет себя вопреки христианским законам, хотя, казалось бы, в обществе с официальной атеистической идеологией подобные упреки были по меньшей мере нелогичны.

- «ДОКТОР ЖИВАГО»: ЯЗЫК РОМАНА И ЯЗЫК ИНТЕРПРЕТАЦИИ 13
- Власть — Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б) — ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. / Сост. А. Артизов и О. Наумов. М., 1999.
- Документы — «А за мною шум погони ...»: Борис Пастернак и власть. Документы 1956–1972 / Под ред. В. Ю. Афиани и Н. Г. Томилиной. М., 2001.
- Пастернак — *Пастернак Б.* Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003–2005.
- Поливанов — *Поливанов К. М.* Революции и трамваи // Venok. *Studia slavica Stefano Garzonio sexagenario oblate: Stanford Slavic Studies. Vol. 41. Part II.* -
- Тименчик — *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой / From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in Honor of Ronald Vroon / Ed. by L. Fleishman, A. Ospovat, F. Poliakov. Wien, 2012.
- Утгоф — *Утгоф Г.* К проблеме «Набоков и Пастернак» // Toronto Slavic Quarterly 34. Fall 2010.
- Чуковский — *Чуковский К.* Дневник. 1930–1969. М., 1994.